

делительная роль поэтической речи и власть слов только что начинают выясняться. Фантом творческой индивидуальности почти исчерпан. Но люди упорно, в виде дорогого им пережитка и в, может быть, законных целях самоуслаждения — толпе так же, как и отдельному человеку нужен жир, а значит, и сахар — люди упорно, говорю я, чувствуют «гениев» не только монументами — куда ни шло — монументы неживших Елеазаров, — но речами и даже обедами. Это не столько смешно по отношению к чествуемым, которые забавляются как умеют, как <к> тем, которых чествуют...

Но я боюсь пускать в ход все те группы слов, которые уже поблескивают мне из моей чернильницы — мне трудно было бы прервать их и — вместо письма — получилась бы целая статья, пожалуй... Нет, статьи бы не получилось, но ее проект, который, по теперешним моим планам, не должен появляться ранее, чем в августе. И потому позвольте мне не развивать мыслей о том, как центр чудесного должен быть перемещен из разоренных палат индивидуальной интуиции в чашу коллективного мистрадания, в коллизию слов, с ее трагическими эпизодами и тайной. Когда-нибудь я покажу это на примере. Теперь боюсь и начинать. Вы спрашивали меня о романе Свенцицкого ²¹. Он помечен 1908 годом — это очень интересно. Но ведь здесь он говорит совсем не то, что теперь, хотя и называет себя оставленным при университете и «писателем-проповедником». Роман шаблонен и даже не вполне грамотен, но дело не в этом.

Он неискусно претенциозен. А надпись «Антихрист» прямо-таки вызывающая, рекламная, рассчитанная на витрину и психопатию читателей. Я удивляюсь, как люди, которым Свенцицкий нужен для легенды, не отговаривали его от этой публичной эротомании.

Лично мне после ста страниц «Антихриста», которые я прочитал, Свенцицкий может быть интересен только отрицательно — как одна из жертв времени, а не как религиозный мыслитель и даже не как проповедник. Легенда его творится не для меня, и мне только грустно, что его соблазняют души, которые я полюбил свободными.

Ваш И. Анненский.

№ 8.

20/VI 1908

Ц<арское> С<ело>.

Дорогая Екатерина Максимовна,

Я до того засыпан делами и вместе с тем захвачен мыслями об Еврипиде, к которому я испытываю теперь приступ какого-то острого и болезненного влечения, что насилу выбрал этот час — уже почти ночной — напомнить Вам о себе. Впрочем, я не хочу писать о себе, так как это значило бы напрасно разжалобить Вас моей грустной повестью. Я хочу через этот дождь — холодный и через ночь, еще почти белую, но так и не потеплевшую, — видеть Вас, моя дорогая, в серебряном тумане утра, сквозь который золотится чешуйками гольф.

Я хочу глядеть, заслонив рукою глаза от слишком яркого солнца, как Вы теперь смотрите далеко... далеко... на запад в сторону Сицилийского берега, где и я недавно провел несколько чудных часов со Стесихором ²², которому Елена только что вернула зрение после его палинодии (покаянной песни)... Вы глядите на волны с балкона... Вам лень идти... да и жарко... по дороге к городу между низкими белыми стенами и глядеть на едва завязавшиеся сладкие лимоны... Книга — английская, небольшая, квадратная, мелко напечатанная, — скользит у Вас на колени, а Вы не хотите этого заметить...

«Волны, несите мои думы» поет у Вас в душе. Волны готовы, но уже Вам жаль дум... и волны золотятся, и волны шумят, но ничего не унесут